ДАНИЭЛЬ ОРЛОВ

Саша слышит самолёты

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н. В. ГОГОЛЯ

Даниэль Орлов

Саша слышит самолёты. Премия имени Н. В. Гоголя

«Издательские решения»

Орлов Д.

Саша слышит самолёты. Премия имени Н. В. Гоголя / Д. Орлов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-969655-7

Книга «Саша слышит самолёты» о воспитании и взрослении девочки, подводящая читателя к размышлению о том, так ли верно мы живем, как считаем сами. Сашенька вовлечена в запутанные лабиринты отношений родителей, в которых на долгие годы остаётся забытой, предоставленной сочинять собственный мир лишь по теням и отражениям взрослой жизни.Европейский психологический роман, получивший премию им. Н. В. Гоголя за 2015 год.© Даниэль Орлов, 2013, 2019 Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-969655-7

© Орлов Д.
© Издательские решения

Содержание

1 6
2 12
3 15
4 18
5 23
6 32
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Саша слышит самолёты
Премия имени Н. В. Гоголя

Даниэль Орлов

Иллюстрация на обложке Сергей Миханков

© Даниэль Орлов, 2019

ISBN 978-5-4496-9655-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1

Так и разгадываешь день. Собираешь, как забавную несложную головоломку. Находишь к ней ключик, притыренный в трещине асфальта на платформе Сестрорецкого курорта или в пластиковой коробке с мелочью у продавщицы мороженого. Иногда он выпадет из дребезга велосипеда «Кама», которого пожилой узбек, спешившись, бережно ведёт за руль через пути, пересекающие Ермоловский проспект. Одно название, что проспект, – узкая асфальтированная дорожка, по обе стороны за заборами дачи. Модерн. На одной из них он с племянником вторую неделю перекладывает крышу. Они меняют старый, бурый, поросший мхом шифер на красивый рифлёный металл. Проспект.

Иногда ключик уже в замочной скважине часового механизма и скребёт, заводит, будоражит старые часы в деревянном корпусе. Когда-то они стояли на пошарпанном бюро в кабинете второго секретаря обкома, а теперь здесь, на фальшивом камине. Где ни поставь, а вечно опаздывают, фатально; по пять минут за день застревает в их ржавых шестернях. И уже никто не берётся отремонтировать это неуклюжее время. Тикают, да и ладно. Громко тикают в тишине двухэтажного дома на две семьи, кутающегося в пушистую пену высоких кустов неподалёку от городской больницы. Этот дом построили пленные немцы в сорок шестом. Этот дом спустя шестьдесят лет удалось снять через агентство, чтобы жить в нем, а не в городе, опостылевшем и отнявшем столько сил.

Ходишь, проснувшись от этого тиканья, из угла в угол, собираешь то, что нужно собрать, надеваешь на себя то, что нужно надеть, отражаешь себя в зеркало, мелешь кофе со звуком «жжжж», пока не вспоминаешь, что уже неделю не подводил треклятые часы. Выскочив из дома, бросаешься к машине, поскальзываешься на сливовой косточке, которой соседский озорник выстрелил в сторону твоего автомобиля. И бесконечно долго рушишься своими лишними килограммами на бетон садовой дорожки, бьешься коленом и получаешь ссадину на локте. Да только тут замечаешь, что вокруг суббота, ехать никуда не надо, а то, что ты считал опозданием, – это и есть вечная твоя несбыточная мечта встать утром в выходной пораньше и прогуляться до залива.

Суббота. Утром в саду ее сложно не заметить. Тишина… Машины не едут. Никто не газует нетерпеливо на светофоре. И день ещё не разгадан, а ключик уже в кармане. И красное – к красному, зелёное – к голубому и жёлтому, белое к серому, бурое к стали и дереву, тёплое к камню, холодное к виску, прошлое к настоящему. Капелька к капельке.

Ты не видел этот залив уже год или два года, или три года. Тогда ты приезжал сюда с прекрасной и юной девой, которую (конечно же!) звали Ольга, чтобы сидеть на берегу белой ночи, пить шампанское из стаканов, позаимствованных из номера пансионата, снятого на двое суток. Сожалеть, что ничего не может получиться: ты женат, а у неё сын, которому десять лет, и через три года трудный возраст. Да и без того он всерьёз ревнует тебя к ней, так что приходится встречаться тайно, когда он уже заснул, когда ты оставил машину в соседнем дворе, а самое прекрасное, что может с вами произойти зимой, – это прогулка от метро «Автово» до метро «Кировский завод». И вот он в летнем лагере, а ты на берегу залива читаешь стихи его матери. И будущего у вас нет.

Теперь ты идёшь, засунув руки в карманы трикотажной кофты с капюшоном, такой как у наркодилеров в американских фильмах, только без надписи «New York Rangers». Ты насвистываешь «Love will tear us apart», которая звучала из магнитолы её автомобиля, когда она везла тебя в Комарово. Это была её идея. Или это была твоя идея. Ложь и глупость. Ничего не получилось. И это последний раз, когда ты видел залив.

Какие три года?! Восемь лет назад! И человек, написавший эту песню, вообще повесился, когда тебе было одиннадцать, а ей семь лет. Дети!

А теперь вокруг тебя мир собирается во вселенную, наспех сочиняя законы тяготения, раскидывая элементы согласно валентности и атомному весу, набирая в ладони дерев звуки и запахи, чтобы подбросить их вверх, где альфа и омега.

Залив. Игрушечное море, дразнящее волной, доходящей лишь до колена, дюнами, пахнущими тиной и дёгтем, играющее далеким силуэтом парома, протискивающегося по морскому каналу, как жестяной пароходик в игре «Морской бой» в фойе кинотеатра. Пятнадцать копеек и «пиу-пиу» – потоплен. И чайки, как настоящие. И фонтанчики с питьевой водой. И дети с надувными кругами. А только плюс восемнадцать. И это лучшее, что можно ожидать от погоды.

Молодая женщина с детским пластмассовым ведром в руках сидит на скамье, её за плечи обнимает седой широкоплечий мужчина в джинсовой рубашке. Его брюки закатаны по колено, он что-то говорит, но слов не слышно. Двое мужчин, один худощавый, субтильный, в расшитой узорами круглой шапочке, другой, тот, что покрепче, покряжистей, – невысокий, в голубых джинсах, подвёрнутых на щиколотках так, как их подворачивали в семидесятые годы на континенте.

Жёлтые ботинки свиной кожи, короткая черная куртка, клетчатая рубашка. Вот они сворачивают на Курортную. У них в руках шуршащие пакеты, набитые хаотично и излишне щедро. Я вижу, как колышется зелёный лук. Я вижу торчащее горлышко винной бутылки. Я замечаю острые края вакуумных упаковок с сыром и колбасой. Они режут белую плоть пакетов. Но уже нестрашно. Уже близко. Уже донесли. Суббота.

Но день, а за ним лето, а за ним год, а за ним вечность, в которой эти мужчины на проспекте, женщина с пластмассовым ведерком в руках, и другая женщина с девочкой, что бегают по кромке пляжа и поднимают фонтаны брызг, и чья-то собака, лакающая длинным розовым языком почти пресную воду залива, – все они откладывают свое время по секунде от тиканья старых, бредливых, выживших из ума часов. А те так усердно тикают, что трещинки от каждого «тик-так» разбегаются по времени назад и вперед, словно так и надо, словно тут в часах и есть начало всему. Почему бы и не так? Тик-так. Тик-так.

Мнимое, больное Сашенькино замужество, разыгрывающееся бесконечным спектаклем для тёти Нины, поначалу забавляло девочку, но потом с каждым месяцем всё больше и больше тяготило. Особенно тяжело становилось после разговоров о внуках, которых тётя Нина желала страстно, ревнуя их, ещё не рождённых, к каждой минуте, прожитой Сашенькой с Артемом.

Пока Саша училась в аспирантуре, Артём ещё мог объяснять матери, что образование важно получить до детей, поскольку позже уже будет труднее. Но после окончания, когда Саша устроилась на работу в Управление, тётя Нина начала осаду с двойной силой. Она заходила в гости обычно без приглашения и без предварительного звонка, сразу занимая собой все закоулки квартиры. Она передвигала своё большое тело вдоль стеллажей с книгами в дидактическом вальсе, на три счёта ритмично выговаривая замечания и пожелания по организации Сашенькиного с Артёмом быта. В этом быте тёте Нине не нравилось решительно всё, начиная от старой мебели в гостиной и заканчивая горой неглаженных рубашек сына и режимом питания.

– Я не понимаю радости житья в хламовнике. Воспоминания, то да сё, я ещё могу оценить, но что тебя связывает с рухлядью в прихожей и с этими гробами? – она показывала рукой на два платяных шкафа в спальне. – Я матери твоей ещё при большевиках предлагала нормальную мебель привезти. Дефицит был. А сейчас этого добра навалом. Позорище! Артём не может сослуживцев в гости пригласить, потому что стыдно, потому что это убогость провинциальная чистой воды. Тебе нужен был не мой сын, а слесарь из Твери, которому всё равно где жить, лишь бы в столице. Хотя бы сантехнику можете сменить? Этому вашему югославскому фаянсу сто лет в обед! Веркина мать его покупала, когда мы ещё в школе учились.

Сашенька отшучивалась, но иной раз, чувствуя, как предательски щекочет в носу, под любым предлогом на пару минут убегала в кабинет, где поднимала голову вверх, чтобы проступившие было слезы закатились обратно. Артём, понимающий всё соучастник, ласковый и уютный друг, вставал из-за компьютера, обнимал её и дышал в затылок. Она сглатывала жёсткий чернослив у горла и опять шла к свекрови, чтобы кивать головой, краснеть, но защищать то, что только ей важнее всего остального.

Сашенька от раза к разу чувствовала, что температура этих семейных недоскандалов растёт, и единственное, кто мог бы их как-то остудить, предотвратив неуправляемую цепную реакцию, – это отец, который всегда оказывался далеко, в вечных своих командировках.

Ну в самом деле, не ребёнка же ей рожать. Это было невозможно, неправильно, противоестественно и вовсе нереально. Если даже от кого-то другого, опрокинув себя перед посторонним чужим мужчиной сухим июльским небом. Выходить, выносить, родить и опять солгать, добавив ещё больше путаницы в этот единожды созданный её отцом хаос.

Она держала оборону сама, никак не рассчитывая на Артёма, которому самому было далеко не сладко и, возможно, ещё сложнее чем ей. Иной раз ночью Саша просыпалась от его всхлипываний. Тогда она вставала, накидывала на себя халат, шла на кухню и варила какао, в который выливала рюмку Courvoisier.

Потом она сидела на краю дивана и теребила пальцами волосы мужа, пока тот, стараясь унять нервную икоту, маленькими глотками отпивал горячую, ароматную жидкость. «Славный мой, милый мой, братик любимый, не плачь, – приговаривала Сашенька, – всё у нас хорошо, а что у нас не хорошо, то вовсе не у нас, а у каких-то незнакомых нам людей, которые почему-то носят нашу фамилию и расписываются за нас в зарплатной ведомости. А у нас всё прекрасно, даже тётя Нина так думает, а это самое главное. Ей нельзя думать иначе, ей можно думать только так, как сказал папа. И нам нельзя думать по-другому. Все иные мысли считаются вне закона и подпадают под статью об административном правонарушении на территории города Москвы. За это наказывают ссылкой сначала в Перово, потом в Алтуфьево, а потом куда-нибудь за Дмитров без права переписки с правительством. И как же правительство переживёт, если мы не станем с ним переписываться путём заполнения квитанций на оплату квартиры? Правительство совсем осерчает и, чего доброго, падёт. Оно падёт с гулким грохотом и рокотом, со стуком и звяканьем, с клёкотом и цоканьем, с причмокиванием и присвистом. Покатится, рассыплется, закатится, прорастёт, взойдёт, распустится, соберётся».

Саша несла какую-то околесицу, успокаивая и убаюкивая Артёма, пока тот не засыпал, резко вздрогнув перед тем. Тогда она перебиралась в свою постель, дёргала замусоленную верёвочку бра и долго лежала в темноте с открытыми глазами, вовсе без мыслей, следя за полосками света на потолке, с одним лишь синкопирующим ритмом крови в ушах. Яркая полоса, бледная полоса, яркая полоса, бледная полоса…

Она уже привыкла не ждать от мужа ничего, кроме участия. Артём никаких решений не предлагал.

Иной раз вечером, сидя на кухне с бокалами, они смеялись, называя себя вымышленными именами персонажей несуществующей мыльной оперы.

– Синьор Артемио, я получила письмо от синьора Реверте.

– Что вы говорите, синьора! И что же пишет этот благородный Дон?

– Он раскопал в архивах Буэнос-Айреса, что я не сестра вам, а бабушка!

– О Господи! Синьора Алехандра, теперь вы начнёте воспитывать меня и кормить кукурузной кашей!

Они смеялись, обнимались и нежно клялись друг другу в вечной дружбе.

Артём охотно поверял Сашеньке хитросплетения своих странноватых романов, рассказывая про интриги, ревность и адюльтеры друзей. В их компании, где все давно уже не по одному разу поменяли своих партнёров, Сашу знали и не стеснялись. Поначалу она чуть

нервничала среди этих занятых друг дружкой высоких интеллигентных мальчиков, но потом привыкла, и ей уже не казались странными ни их мягкие, влажные интонации, ни показная хрупкость, ни порой наигранная, шаблонная вульгарность. Они водили её на прогоны новых спектаклей, приглашали на шумные загородные вечеринки, где от знакомых экранных лиц реальность лихорадило красноватыми полосками помех: «Ой, не пей столько, Саша! Мы тебя не довезём, ей-богу!» Они звонили ей домой со своими жалобами и проблемами, желая получить дружеский совет или одобрение. Она утешала их и благоволила им, позволяя даже слегка ухаживать за собой, ибо в ухаживаниях этих не было ничего кроме искреннего приятия и симпатии. И они стали её друзьями даже в большей степени, нежели друзьями Артёма.

– Гендерная метаморфоза, – бурчал он, прислушиваясь к телефонному разговору Сашеньки с кем-то из их компании, – сущий парадокс человеческой природы. Ты для них безобиднее в качестве собеседника, нежели я. Со мной они внимательно взвешивают каждое слово, а с тобой болтают, как подружки после выпускного.

– Можешь не подслушивать, если тебе это так неприятно, – с улыбкой шептала Саша, зажав трубку рукой, – мне рассказывают секреты.

«Это книжка о любви», – говорил ей Митя, парень, в которого она оказалась понарошку влюблена на втором курсе. Он проводил пальцем по её позвоночнику прямо на лекции, и мурашки рассыпались от макушки до икр, с шелестом радиопомех, заглушая то, что говорил профессор Дубов.

– Потоцкая, проснитесь, на зачёте будете иметь бледный вид!

Все смеются, включая Митю, который откидывается назад, на спинку аудиторной скамьи, и сводит руки на затылке в замок, потягиваясь. Он был хорошо сложен – пловец, с ранней, вовсе не по возрасту сединой, голубыми глазами и пухлыми губами. Сашеньке такие никогда не нравились, но тут она ничего не могла с собой поделать. Его зов был сильней ее предпочтений в мужчинах. Наверное, он спал со всеми симпатичными и «так себе» девочками курса, но разве это что-то меняло? Сашенька не собиралась за него замуж, она вообще не собиралась замуж в ближайшие годы.

Мите нравилось, что Сашенька не заставляет его признаваться в любви и не требует постоянного присутствия, потому он просыпался рядом с ней чаще, нежели с другими. Делал зарядку в Сашенькиной прихожей, приседал и подтягивался на турнике, установленном еще папой. Они вместе завтракали бутербродами, растворимым кофе и ехали в институт. Иногда они даже держались за руки на эскалаторе.

Он был неглупый, этот Митя. Его родители жили в Петрозаводске, работали в тамошнем отделении академии наук, что-то, кажется, преподавали. Мальчик с детства читал, разбирался в музыке, немного рисовал, немного играл на гитаре. Конечно, собрал группу, репетировал в общаге, чем навлекал на себя естественный гнев коменданта. Странную они музыку играли, Сашенька такую не слушала. Ей не нравилось, когда поют на русском языке, это отвлекало от нот и, по её мнению, маскировало неумение играть на инструментах.

Митя злился, когда она так говорила, и пытался реабилитироваться, играя только для неё, её одну находя в зале. Ей музыка не нравилась, но она делала вид, что проникается, и сидела, покачиваясь в кресле с мечтательным видом.

«Ты молодец!», – хвалила она его после концерта, если удавалось заполучить к себе. Чаще он уезжал с какой-нибудь случайной поклонницей.

Смешно было отправляться с Сашенькой в такой день, когда всё внимание только ему: Сашенька и так никуда не денется. Она и не девалась. Она приходила домой, засаживалась за конспекты и включала на проигрывателе Pink Floyd:

«How I wish,
How I wish you were here

We’re just two lost souls
Swimming in a fish bowl
Year after year
Running over the same old ground
What have we found?
The same old fears.
Wish you were here».

Но эти слова были не про неё и не про Митю. Ей просто нравилась музыка, и она, вовсе не задумываясь о смыслах, подпевала в ночи:

«Can you tell a green field
From a cold steel rail,
A smile from a veil
Do you think you can tell?»

Однажды она даже случайно познакомила Митю с отцом. Они поднимались по Малому Ивановскому от Солянки, в обнимку, пиная облетевшую листву, которую не успевали убирать чернявые суетливые дворники. В воздухе сквозило обречённостью, хотелось умереть или целоваться, и они забрели в крохотный скверик напротив монастыря, где встретили отца, который с двумя коллегами по институту что-то выпивал из коричневых целлулоидных стаканчиков.

– Привет, Санька, ты куда пропала? Нина уже волноваться стала.

– Это Митя, мой однокурсник, – представила Сашенька спутника. – Это дядя Гена, мой… – Она замялась

– Я Сашин опекун, – помог папа, достал из своего шикарного кожаного портфеля очередной стаканчик и протянул Мите.

Они выпили все вместе, потом ещё и ещё. Потом Митя проводил Сашеньку до дома и куда-то уехал. Сказал, что в общагу, что ему нужно подготовиться к зачёту. Но Сашенька знала, что это вранье, хотя и не обижалась. Ей хотелось спать.

– Как поживает этот твой деятель? – часто потом спрашивал папа, имея в виду Митю. – Пить, конечно, не умеет, но вроде хороший парень. Он тебе нравится?

Она переводила разговор в шутку. Ещё не хватало – обсуждать с отцом свою личную жизнь. Глупее этого только обсуждать ее с тётей Ниной.

Если бы Сашеньку спросили, она вряд ли смогла бы сказать, куда в итоге делся Митя. Он просто пропал, как молодые мужчины всегда пропадают из жизни девушек. Это не стало трагедией, не породило слухов. На курсе имелись другие темы, чтобы курить сигареты в «сачке». Митя женился, вылетел из института, пошёл в армию, вернулся, развёлся, вновь женился, вновь развёлся, восстановился на третий курс, когда она уже несколько лет работала в Управлении. Объявился он так же неожиданно, как и пропал, позвонив на городской телефон, на который давно уже никто не звонил, кроме телефонных роботов, тёти Нины и случайно ошибавшихся номером.

– Привет, это Митя.

Где-то месяц потом он приезжал раз в два-три дня, чаще нетрезвым, пугал Артёма, врывался в дом и в Сашеньку. Признавался в любви и стонал во сне. Это казалось, да и было, скорее всего, истерикой. Потом он опять пропал. До Сашеньки долетали слухи, что женился в четвёртый раз и уехал в Харьков. Почему именно туда?

– Там тепло, там парки, всё дышит любовью. Тебе надо найти нормального парня, – говорил ей Артём.

– Зачем? – недоумевала Сашенька. – Для разговоров, душевных излияний и утренних завтраков у меня есть ты, а для всего остального нормальный не нужен, нужен какой-нибудь кретин вроде Митьки.

– Странная ты, сестренка, – смеялся Артём и целовал Сашеньку в нос, – своей логикой ставишь в тупик. Я так не смог бы.

2

Саша жила двойной жизнью разведчика с самого детства, с того момента, когда начала понимать, что этот большой, пахнущий вкусным сладковато-огуречным запахом человек – её отец. И этот человек всё время куда-то уезжал, порой очень надолго, оставляя их с мамой в огромной квартире сталинского дома на улице Горького. И отца нельзя было называть папой в присутствии других людей. Его можно было называть только дядя Гена или Геннадий Львович. Впрочем, это сложно было выговорить. Мама ничего не объясняла дочери, но та как-то сама приняла правила этой интересной игры, смысла которой не понимала. В правила игры «в разведчики» кроме тайных свиданий с папой возле зоопарка и потайных записочек с картинками, рассказывающими, где в квартире найти плюшевую обезьянку или набор фломастеров, входили и строгие запреты на упоминания имён других разведчиков.

Помогая дочери справляться с игрой, мама сама называла папу «дядя Гена» даже в те моменты, когда будила его ранним утром, ласково трепля за мускулистое загорелое плечо. Он вставал резко, сбрасывал с себя одеяло, бежал в Сашину комнату, вытаскивал её, вспотевшую и мягкую после сна, из уютного хлопкового гнёздышка и, взяв под мышку, нёс в ванную комнату, где окунал под струю ледяной воды. Вода пахла хлоркой, попадала в уши, но это всё равно было весело. Потом он растирал маленькое тело махровым иранским полотенцем и лёгким шлепком по попе выпроваживал одеваться. Когда он уезжал, мама не всегда проделывала с ней такие процедуры, и Сашенька, проснувшись, лежала в постели, наблюдая, как мама снимает с волос бумажные папильотки, расчёсывается перед огромным зеркалом в оправе из зеленоватого дерева и долго растирает свои красивые белые ноги с тонкими щиколотками. Ноги у мамы немели по утрам с самого детства. Но после того, как родилась Сашенька, они иной раз совсем теряли чувствительность. Приходилось долго растирать их ладонями, смоченными в камфаре, чтобы они ожили. Когда папа был дома, мама стеснялась своей болезни, предпочитая ходить на ничего не чувствующих ногах, нежели как-то выдать свою слабость. Она просто шла в ванну, где набирала тазик кипятка и опускала в него ноги. Наверное, это было больно. Сашенька видела, как в уголках огромных серых маминых глаз появляются блестящие капельки, хотя мама и улыбалась, глядя на то, как дочка, вытянувшись худеньким бельчонком, чистит зубы перед раковиной.

Мама постоянно печатала на машинке, подкладывая под неё свёрнутое байковое одеяло, но звук все равно раскатывался по золотому, гладкому паркету медными монетками, отскакивал от стен, забивался под плинтус. Она работала днём, когда большинство жильцов дома были на службе, а она, наоборот, только возвращалась из редакции. Покормив Сашеньку, расставив перед ней коробки с кубиками и пластмассовыми солдатиками, мама раскладывала на столе жёлтые листки, которые доставала из потёртой картонной папки с тесёмками, и начинала ритмично украшать другие, тонкие, почти прозрачные листочки небольшого формата ровными рядами буковок. Саша любила наблюдать за тем, как эти буковки выстраиваются в фаланги подобно греческим воинам из детской энциклопедии, картинки в которой она разглядывала каждый день.

Она рано научилась читать. Мама играла с ней «в совушек», которые прилетали и улетали, принося разные буквы и слова. Потом совушки стали приносить целые предложения, а однажды они принесли Карлсона. Сашенька сразу его узнала по мультфильму и захотела узнать, что же там было дальше. В пять лет она уже знала, что было на самом деле с Незнайкой, что с Пеппи Длинный Чулок, а в шесть – что с Нильсом и дикими гусями. Книжки проглатывались быстрее конфет из огромных жестяных коробок, что привозил папа. Кстати, конфет таких ни у кого во дворе никогда не было. Это были не банальные «Мишки на севере», а какие-то загадочные, с нездешним вкусом и запахом. Еще были ковбойские шарики, кото-

рых можно было набить полный рот, а потом надувать огромные пузыри, лопающиеся и прилипающие к носу. Ими ещё можно было очень громко щёлкать. Эти щелчки оглушительно звучали на лестничной площадке, отдаваясь эхом где-то возле лестницы на чердак. Сашенька подтягивалась на перилах, надувала пузырь, оглушительно щёлкала и громко-громко смеялась. На смех из квартиры выскакивала мама и, оглянувшись по сторонам, быстро уводила девочку в квартиру. «Тсс… – говорила мама – ты же помнишь, что мы с тобой разведчики? Никто не должен знать, что нам хорошо. Иначе придут злые люди, и станет плохо».

Сашенька помнила. Она видела, что эта игра заботит маму и папу гораздо больше, нежели её, что было не совсем понятно, учитывая, что Сашенька умела переключаться на другие игры, а родители всё время играли в одну и ту же. Они звонили друг другу по телефону, изменяя голос, говорили об отвлечённых вещах, на самом деле договариваясь о том, куда они пойдут перед ужином. Во всем этом явно заключался некий очень важный для них обоих смысл, но понять его Сашенька до некоторых пор не могла, а спрашивать не хотела. Она вообще мало что спрашивала в детстве, предпочитая сама придумывать объяснения тому, что было неясно. Позже, в школе, у неё даже случались проблемы с учителями. Те усматривали в Саше леность ума, настаивали на дополнительных занятиях и посещении факультативов. Но и на дополнительных занятиях Сашенька не задавала вопросов, а просто внимательно слушала, склонив голову набок и покачивая ногой в ортопедическом сандалике.

Её прекрасная память позволяла сразу запоминать урок, а природная сметливость не позволяла отвечать его как-то иначе, как точно по тексту учебника. В то же время всё неясное и непонятное живо интересовало девочку. Каждый день она совершала массу открытий, выводя закономерности и связи между окружавшими её предметами и понятиями. Когда в школе проходили цифры и учились считать, Сашенька уже знала о цифрах всё, что может понять человек. Для неё это были самые великие абстракции в мире, чудо из чудес, которого почему-то не видели остальные, включая и учительницу. Относительно учительницы у девочки иллюзий не случалось. Та просто оттарабанивала привычные слова для привычной детской аудитории, не задумываясь особенно, что дети понимают, а что только делают вид, что понимают. В ответ учительница Сашеньку не любила, чувствовала, что та видит всю её неискренность. Потому девочка обычно оказывалась объектом для нравоучений и предложений посмотреть, «как нельзя делать». Но когда начальная школа закончилась и на каждый предмет появился свой педагог, успеваемость Сашеньки резко улучшилась. Она вышла в первые ученицы, и её портрет, то с косичками и пионерским галстуком, то с немодной уже причёской «сэссон» под молодую Мирей Матье с шариком начавших виться волос украсил школьную доску почёта.

Она бегом бежала из школы, что находилась в небольшом переулочке, примыкавшем к улице Станиславского, с предвкушением, что увидит папу, который вчера вернулся. Он ещё не приходил к ним и даже не звонил, но она была уверена, что он в Москве. Вечером, когда уже пора было ложиться спать, из-за стенки донеслись звуки пианино. И Сашенька знала, что это играет папа. Это его тонкие сильные пальцы опускаются на клавиши, чтобы родить из недр инструмента красивую сложную мелодию. Мама обнимала Сашеньку, и они вместе сидели на тахте, приставленной к стене в гостиной, и слушали, слушали, слушали. Разведчицы в тылу врага. Две боевые подруги. Две вечно ждущие девы.

За стеной жили родители маминой одноклассницы тёти Нины – дед Егор и бабушка Варвара. Однажды, вскоре после того, как ей исполнилось шесть лет, Сашенька гуляла с мамой на детской площадке во дворе. Вдруг она увидела папу, который шёл рядом с бабушкой Варварой, – в одной руке он нёс огромную красную сумку, а другой придерживал за хлястик мальчика немного постарше Сашеньки. Она почувствовала, что папа на миг растерялся, увидев их, даже замер чуть заметно, отпустив мальчика, но сделал вид, что лишь для того, чтобы переложить сумку в другую руку. Когда они подошли ближе, папа поздоровался с мамой, как они это

обычно делали, когда играли в разведчиков:

– Здравствуйте, Вера!

– Здравствуйте, Геннадий Львович, – ответила мама.

– А это ваша дочь? Совсем большая уже. Как зовут эту прекрасную леди?

Сашенька вся подтянулась и ответила за маму:

– Меня зовут Александра.

– Чудесное имя, – сказал папа, – так звали мою маму. А это мальчик Артемий, Артём, стало быть. Он будет здесь жить у бабушки с дедушкой, пока мы с его матерью делаем ремонт. Вам нужно подружиться. Ты не против?

Сашенька не была уверена, что она не против. Она понимала, что игра входит в какую-то очень важную фазу, в такую, когда в неё вовлекаются другие люди, ранее в игре не участвовавшие.

– А как вас зовут? – спросила Сашенька.

– Дядя Гена, – папа ответил спокойно, глядя дочке прямо в глаза, – я отец этого охламона. Он парень хороший, учиться может лучше всех, но не желает. Бездельник, каких свет не видывал.

– Все в детстве бездельники, – мама смотрела на папу спокойным взглядом, улыбаясь своей замечательной улыбкой. – Саша в школу пойдёт, еще неизвестно, как она будет заниматься. А как вы, Варвара Михайловна, не сложно вам будет ещё и за внуком приглядывать? Вы же вроде ещё работаете.

Бабушка Варвара рассмеялась.

– Что ты, Верочка?! Мне силы девать особо некуда, да и каникулы сейчас, у меня в школе отпуск. Завучу тоже отпуска положены, не только вам, сотрудникам редакций. Мы с Егором только рады, что нам Тёму подбросили. Их же обычно не упросишь. Всё сами да сами, а нам иной раз хочется с молодёжью понянчиться. Вы с Нинкой вымахали и сидите в своих гнёздах, а нам скучновато без вас.

Они ещё разговаривали какое-то время, не обращая внимания на детей. Мальчик вертел в руках красивый пластмассовый пистолет и смотрел себе под ноги, явно смущаясь незнакомой девочки. А Саша отошла в сторону и, севши на качели, пыталась уложить в голове новые правила игры. Она чувствовала, что это не игра, что это уже то, к чему так долго готовилась вся их семья. Это настоящая жизнь, где есть правила и условия, в которые не хочется верить, но поверить придётся. Если этот мальчик – настоящий сын папы, то, стало быть, он её брат. Но мама у него другая, что совершенно ясно из разговора. Саше хотелось плакать от негодования, она даже попыталась надуть губки, но в какой-то миг перехватила взгляд мамы, которая еле заметно покачала головой, словно прося повременить со слезами.

Она вдруг поняла, что мальчик не играет в разведчиков, что он играет в войну, в машинки, в прятки, во что угодно, но только не с папой в настоящих разведчиков. Ведь это только их игра, их тайна на троих с мамой, которую она очень и очень любит. И папу она тоже очень и очень любит, даже если у него есть ещё семья. Но эта семья не играет в разведчиков, эта семья просто живёт там где-то, неизвестно где, своей скучной жизнью с уроками, проверками дневников, передачами «Спокойной ночи, малыши» и другими глупостями. А они с мамой и папой играют в разведчиков. Они самые настоящие разведчики, не боятся никого и ничего, знают всё и никому ничего не скажут.

3

Работа в Управлении считалась престижной. Она давала множество возможностей для сотрудников, единожды поступивших сюда, как в высшее общество по рекомендациям уважаемых людей. Конечно, одних рекомендаций было бы недостаточно. Прежде чем попасть сюда, все молодые сотрудники Управления получали прекрасное современное образование, многие стажировались за границей по линии министерства иностранных дел, разговаривали на нескольких европейских языках. Старшее поколение, впрочем, своё образование не афишировало, как и свой трудовой путь. Но по тому, как уверенно они нажимали на неведомые скрытые кнопки и рычажки, если того требовала ситуация, можно было догадаться, что вихри перемен не только не затронули вязкие хляби их связей, но и добавили им свойства сверхпроводимости.

Официально Управление занималось методическими вопросами энергонадзора, но на самом деле чем-то иным, что сплошь состояло из недоговорок и секретов. Поначалу Сашеньку это слегка нервировало, но позже она привыкла, тем паче что зарплату платили очень хорошую, даже слишком хорошую для государственного учреждения. После года работы она уже скопила денег на сравнительно новый автомобиль и гордилась тем, что смогла себе это позволить.

Её прямой начальник, Альберт Альбертович, был лет на пять младше папы. С начала восьмидесятых он служил под началом деда Егора, еще при министре Славском. В его кабинете висела фотография, на которой Брежнев с удивлённым лицом держит совсем молодого Альберта Альбертовича за предплечья, видимо собираясь расцеловать. На заднем плане дед Егор с начинающей седеть шевелюрой, а чуть с краю виден затылок Суслова. Фотография неофициальная, почти любительская. Всякий раз Сашенька, заходя к боссу, натыкалась на неё взглядом и вспоминала старый анекдот про кремлёвского целовальника. «Вам ещё френч и бороду, и Вы на Фиделя были бы похожи», – в первый раз увидев фотографию, съязвила Сашенька, в ту же секунду сообразив, что позволила себе лишнего. Но Альберт Альбертович только весело рассмеялся. «У меня тогда зуб болел, я на него чеснок положил. Ходил, дышал в сторону. Кто ж знал, что он целоваться полезет», – весело отшутился он и взял из Сашиных рук папку с документами.

Их отношения с боссом складывались прекрасно. Сашенька ощущала, что этот внешне строгий человек относится к ней скорее по-родственному, позволяя себе некие выходящие за рамки рабочих отношений эмоции. Иногда он вызывал её к себе, чтобы угостить чаем с печеньем и поговорить об автомобилях или о том, в какой стране стоит отдыхать в этом сезоне. Она никуда не ездила отдыхать, но имела своё мнение по поводу всех возможных стран. С детства ещё она увлекалась историями о всяческих путешествиях, регулярно читала журнал «Вокруг света» и могла безошибочно показать на карте любое государство. А теперь она часами просиживала в Интернете, ведя оживлённую переписку с жителями Майорки и Барбадоса, острова Маврикий и Суса. У неё даже случился виртуальный роман с одним ирландцем, который увлекался игрой в сквош и на всех присланных фотографиях сидел в бейсболке с надписью «Fucking Russians»…

Сашеньку развлекали эти беседы, в которых к её мнению относились с показным вниманием. Обычно в завершение разговора Босс передавал поклон Егору Ивановичу и дежурно осведомлялся о здоровье Варвары Михайловны. Потом он спрашивал что-то по работе, и Сашеньке приходилось переключаться на скучные темы договоров, юридических согласований и отодвигающихся сроков.

Когда она слегла с неожиданной краснухой, Альберт Альбертович через курьера передал ей огромный пакет, наполненный всяческими фруктами, и целую стопку дисков с мульт-

фильмами. В одну из коробок была засунута записка: «Если ты ещё такой ребёнок, что болеешь краснухой, то и лечить тебя надо, как ребёнка. Принимай эти мультики пять раз в день до и после еды. А.А.»

Сашенька последовала этому рецепту, но вскоре температура скакнула за сорок, и её ночью увезли в Склифосовского. Трое суток ей ставили капельницы, исколов всю левую руку. Когда же через две недели её выписали, Босс, справившись заранее в приёмном покое, приехал встречать в бежевом верблюжьем пальто и с огромным букетом лилий. «Ого! Молодец девчонка!» – пробормотала медсестра, наблюдая из окна, как элегантный начинающий седеть мужчина помогает девушке сесть на заднее сидение шикарной баварской «семёрки».

– И чем это она его такого подцепила? Не красавица вроде. Ну да, попка там, ляльки, но всё явно не его масштаба.

Они мчались по Новой Риге, «крякалкой» сгоняя попутные машины на правую полосу. В Москве снег долго не держался, а здесь, за городом, он уже основательно разлёгся по краям шоссе, впитывая ржу на обочинах. До Нового года было ещё далеко, но в начинавшихся сумерках уже светились электрические свечки, треугольниками выставленные в окнах особняков. Их жителям опять хотелось детства и праздника. Сашенька рассеянно глядела в окно на пролетающий пейзаж и невнимательно слушала Альберта Альбертовича, который, смеясь, что-то рассказывал про аварию, в которую угодил директор их департамента, и про то, как страховая компания в ужасе прислала сразу трёх аварийных комиссаров. Он держал Сашенькину руку между своих ладоней, убаюкивающе и успокаивающе поглаживая. Сашу немного познабливало, но как-то не всерьёз, в фоновом режиме, словно бы и без её участия. Она не волновалась и не боялась, но нервная судорога, минуя сознание, пробегала вдоль позвоночника. Босс не был ей противен. Наоборот, в его присутствии она замечала за собой какое-то кокетство, впрочем, не отдающее фальшью и тем самым не заставляющее потом краснеть. Она просто немного млела от того, как этот красивый, высокий мужчина говорит, смотря ей прямо в глаза, как с достоинством держит красивую голову, как ловко играют его пальцы на клавиатуре лэптопа.

Иногда она заходила в его кабинет вечером, если оставалась допоздна на работе. В кабинете витал еле ощутимый запах Yohji Yamamoto, который свёл с ума не одну тысячу молоденьких девочек. Да, Босс умел себя подать. Иной раз на очередной вечеринке или презентации он появлялся в обществе таких шикарных дам, что Сашенькины сослуживицы даже икать не могли. После этих мероприятий, когда подгулявшие коллеги разъезжались в такси по домам, Босс элегантно упаковывал свою даму на заднее сиденье подогнанного шофёром автомобиля и, махнув кому-то, увозил к себе в коттедж. А может быть, и не в коттедж, может быть, просто провожал до дома. Но все были безоговорочно уверены в лихой Альбертовой порочности, а особенно компания старых кошёлок из бухгалтерии, для которых А. А. привычно служил персонажем воображаемых сексуальных переживаний. «После ночей в коттедже у этих шлюх открываются радужные перспекти-

вы», – язвили они. «Радужные перспективы» – Сашенька всегда смеялась над этим неуклюжим выражением.

Наверное, туда, в коттедж, вёз Альберт сейчас и Сашеньку. Он ничего не говорил, но и она ничего не спрашивала. Не связанная никакими обещаниями даже с мужем, не обременённая излишней щепетильностью, она спокойно и с достоинством наблюдала за этим неожиданным поворотом своей судьбы. Это было не страшно и не стыдно, но всё же как-то немного неловко, учитывая разницу в возрасте и положении, но это было далеко не неприятно. Скорее любопытство, нежели стыд, красило щеки. «Взрослый мужчина имеет право на любой достойный метод ухаживания, – рассуждала Сашенька, – Допустим, что печенья, кофе и разговоры должно посчитать прелюдией, диски и записка – уже конкретные знаки внимания, а уж что будет дальше, можно себе представить, по крайней мере, на ближайший вечер. А потом сплош-

ные „радужные перспективы“. Интересно, как он отнесётся к тому, что на мне нет дорогого белья? Надо было попросить Артёма привезти мне то, что я купила в Питере летом».

Сашенька вспомнила об Артёме и подивилась «нахальству» Альберта Альбертовича, умыкнувшего из больницы жену внука своего бывшего (а бывшего ли?) начальника. «Ведь я замужняя женщина, чёрт побери, – с иронией думала Сашенька, – подобный эпизод может меня скомпрометировать. Слово-то какое – „скомпрометировать“… Нет, это не про меня. Про меня какие-то другие слова, даже не слова вовсе, а так, наборы звуков, а это всё сложности книжные. Сложности тех сюжетов, где всем до каждого есть дело. А до меня никому нет дела. Никому, даже папе, который опять далеко и которому вообще на всех наплевать. Однако босс всё равно отчаянный парень, если решился на это».

В сумерках у Сашеньки начинали слипаться глаза. Она уже вовсе не слушала, что говорил ей сидящий подле мужчина, а лишь кивала не то в такт неровностям дороги, не то в такт своим воспоминаниям, которые царапанной киноплёнкой проецировались на эту дорожную полудрёму.

Она вспомнила вдруг про колпачок с бубенчиками, привезённый папой из Китая. Бубенчики ласково позванивали, когда Сашенька наклоняла голову. Это для новогоднего праздника в школе. Костюм Арлекина. Двуцветный ярко-красный с золотом комбинезон. Сапожки с длинными носками. И колпак с шестью рожками, на конце каждого – золотистый бубенчик. И все в классе смотрели на неё, потому что такого яркого чуда невозможно было не заметить. А потом, когда она сидела в раздевалке и зашнуровывала свои неуклюжие высокие ботинки, пробегавший мимо мальчишка вдруг дёрнул торчащий из ранца колпак, но лишь оторвал один шарик, который покатился по бетонному полу. Сашенька подняла его и положила в карман куртки. Шла домой, опустив руки в карманы, и позванивала бубенчиком. Что же там, внутри этого металлического шарика с дырочками и ушком, за который бубенчик пришивают к колпаку? Что? Что звенит? Сашенька пыталась разглядеть, направив луч фонарика. Но тщетно.

А как он понравился кошке. Та гоняла его по квартире из комнаты в кухню, загоняла в угол, ложилась в засаде. И внутри что-то негромко звенело.

4

Из летнего лагеря Сашеньку забирал папа. Он приехал за три дня до окончания первой смены, во время тихого часа. Сашенька единственная из всех девочек спала, накрывши голову подушкой, чтобы не слышать щебетания подруг, обсуждающих мальчишек. Её первая чувственная история накануне закончилась трагедией. Объект мечтаний оказался подлецом, скотиной и дураком, ибо всё, что она писала ему в записках, украдкой передаваемых на вечерних построениях, стало достоянием сплетен всего отряда. Кто бы мог подумать, что в своём тщеславии этот на вид скромный парень раструбит о её чувствах каждому. А чувства эти начинались где-то внизу живота, проходили через сердце и бесстыже очерчивали счастливым румянцем щеки. Забравшись далеко за территорию лагеря, на берег Протвы, она гадала на маленькой замусоленной колоде и отчаянно рифмовала и рифмовала строки. Рифмы эти теперь передразнивались на полдниках мальчишками за соседним столом, вписывающими их в гаденькие неумелые дразнилки. Она не клялась себе «больше никогда и ни с кем», не кляла себя, но тем ни менее замкнулась, не желая выслушивать утешения подруг. Она не прятала глаза, вот-вот готовые опрокинуться слезами, но смотрела сквозь и над, различая лишь геометрию, но не краски, единожды потускневшие и ставшие необязательными в её маленьком горе. Сознание с охотой уходило в небытие сна, туда, где иллюзии не наказывались, а всё плохое случалось ненадолго. Воспитательница аккуратно потрогала Сашеньку за загорелый локоть: «Потоцкая, просыпайся, за тобой приехали. Одевайся быстренько и вещи свои собирай».

Сашенька выбежала из корпуса и сразу его заметила. Папа сидел на скамейке возле стола для пинг-понга, незнакомо осунувшийся и потускневший лицом. Сквозь его постоянный загар проступала шероховатая серость. Ссутулив плечи, он отрешённо смотрел за поединком вожатых, режущих кручёные от самой земли. Сцепленные сухие пальцы впились в ручку кожаного оранжевого портфеля, и руки его казались похожими на птичьи лапы. Да и в самой позе что-то было от нахохлившейся огромной птицы. Заметив Сашеньку, он словно вспорхнул и зашагал-полетел к ней своими огромными шагами.

– Надо ехать, Санька. У нас там… В общем, я договорился уже, можно прямо сейчас. Где чемодан-то твой?

– В чемоданной, за столовой, дядя Гена, – Сашенька смотрела на папу в упор, ожидая ещё слов. – Папа, что-то нехорошее случилось? Ведь так?

Папа поставил свой портфель на бетонную ступеньку корпуса и резко и даже больно прижал её к себе.

– Ты помни, Санечка, мы с тобой разведчики. Теперь совсем нам тяжело будет, совсем тяжело. Теперь всё по самому настоящему будет. Но ты уж терпи, дочка, ты уж старайся. Нам с сегодняшнего дня вообще ошибаться нельзя, теперь только от нас с тобой всё зависит.

Сашенька дышала кисловатым табаком папиного пиджака и даже не пыталась высвободиться. Она просто замерла под этими сильными руками-крыльями горячей дробью, свинцовой болью, безумной и дурной силой. Она всё уже поняла, даже спрашивать больше ничего не хотелось. И не хотелось слышать больше никаких ответов, от которых, кроме горячей тяжести, не случилось бы ничего. «Мамочка, мамочка, мамочка, моя мамочка, милая моя мамочка, мамочка, мамочка», – каплями по щекам катились слова, выдыхаемые губами. И мелкой, ядовитой змейкой извивалась мысль: «Надо сказать Игорю. Сказать Игорю. Пусть ему будет стыдно, что он такое со мной сделал, что так поступил со мной, с моими чувствами. Как смел он, когда у меня такое несчастье? Как смел?! Пусть теперь просит прощения, пусть теперь льёт слёзы свои лживые, пишет письма с ошибками, звонит домой голосом своим писклявым.

Адрес! Ему надо оставить адрес и телефон! Но какой? Где мы теперь будем жить? И кто – мы? Это ведь я. Это же мне теперь надо где-то и с кем-то жить! А как же папа?»

Нос заложило, а в висках пишущей машинкой стучала кровь. Они шли по песчаной колее, перешагивая корни сосен, на искорёженных, дистрофичных рёбрах которых всякий раз так немилосердно трясло «Икарус», когда детей вывозили на экскурсии. Они выбрались за территорию ещё до окончания тихого часа и, уже отойдя прилично, услыхали заплутавшее эхо Жана Мишеля Жарра, которого включали в радиорубке вместо горна на подъём. «Кончилось детство», – неожиданно для себя по-думала Сашенька и сама удивилась ненужному, чужому пафосу этой мысли.

– Она обещала подарить мне ролики на тринадцать лет, – потерянно проронила Сашенька.

– Будут у тебя ролики.

– Не надо, папа. Я не про то.

– Но я всё равно куплю, Санечка. Вере… маме это было бы приятно. Она меня просила купить их для тебя.

– Но я не хочу никакого дня рождения! Зачем он мне, если мамы всё равно нет теперь? Не в этом году. В другой раз. В этот раз я не хочу никаких подарков. И гостей приглашать не надо. Да и куда их приглашать? Где я теперь жить буду?

– Вначале поживёшь у тёщи…, – он осёкся, – у бабы Варвары с дедом Егором, а потом, наверное, заберу тебя к нам. Я с Ниной уже говорил. И это она предложила. Хочет, чтобы мы оформили опекунство. А квартира всё равно за тобой останется. Когда вырастешь, будешь там жить самостоятельно.

– Я не хочу потом, я хочу сейчас! Не хочу никуда уезжать из дома. Это наш дом! Мой и мамин! И твой!

Сашенька вдруг зашагала быстрее, потом ещё быстрее, потом побежала. Но через сотню метров остановилась, повернулась, увидела непривычно сутулую отцовскую фигуру и бросилась обратно. Обняла его, подняла вверх подбородок, посмотрела в глаза.

– Прости меня. Я забыла, что мы разведчики. Совсем забыла. Но только на мгновение забыла. Ты не волнуйся. Я же всё понимаю. Ты только не волнуйся. Тебе и так плохо, я же вижу. Прости-прости-прости меня.

Потом они ехали в электричке, раскалённой за день августовским солнцем. Оранжево-жёлтые пятна мелькали за окнами, сквозь полусомкнутые веки закатываясь в дрёму стеклянными шариками. Эти шарики собирались в темноте в блестящие сверкающие кучки, от света которых щекотало в носу. Они лопались и вытекали все вместе очередной слезинкой, которую Сашенька машинально смахивала тыльной стороной ладони. Папа сидел напротив и не то читал, не то смотрел сквозь страницы толстого журнала, время от времени фокусируя взгляд на одном и том же абзаце, но лишь на мгновение, прежде чем опять потеряться где-то вне сюжета. Сашенька видела, что горе от смерти мамы гораздо сильнее для него, нежели груз проблем, навалившихся после. «Бедный мой Папа, бедный мой дядя Гена, – думала Сашенька, – как же ты теперь будешь играть в разведчика? Что нужно будет тебе ещё сочинить, чтобы секреты остались секретами, чтобы никто не посмел нас разлучить? А может быть, так даже и проще, даже и лучше, что не нужно будет делить себя между семьями, не надо придумывать шифры и коды, не надо постоянно врать одной из женщин? Нет-нет, это не может быть так. Ты всегда был готов решить всё раз и навсегда, если бы только мама тебя об этом попросила. Но она никогда не просила. Никогда не упрекала. Она была настоящей разведчицей, нашей с тобой подругой. Она всё понимала. Понимала… Не „понимает“, а „понимала“. Как так может быть? Неужели сейчас никто не встретит меня? А как же её вещи? Они же так и лежат там, где она их оставила. О Боже…»

Электричка ухала, неизобретательно постукивала на переездах, взбалтывая вязкий, утробный жар вагона. Сашенька незаметно для себя заснула, а когда проснулась, то в голове в такт этому унылому движению, словно ложка в стакане жидкого киселя, звякала глупая мысль

о злом мальчике, что позволил себе так посмеяться над ней. Она представляла себе, как найдёт он вечером в тумбочке короткую записку от неё и как ему станет невыносимо стыдно. Должно стать. Не может не стать. Только бы он нашёл эту записку. Только бы нашёл…

Нет никакого детства с плюшевыми медведями и розовыми бантами. Это детство возникает уже потом, спустя годы, химерой сознания, утренней ложью перед зеркалом, вечерними слезами одиночества. Это сознание, осипнув и переболев настоящим, создаёт себе в помощь гомункулуса, умеющего лишь улыбаться, шуршать конфетными обертками, качать розовыми бантами и на все вопросы «так что же там было на самом деле?» отвечать заливистым смехом. Вранье от начала и до конца. От того момента, когда соседка по лестничной клетке, твоя ровесница, рассказала подружкам, где зарыт твой секретик, собранный в блестящую жестянку из-под монпансье, в котором несколько бусинок чешского стекла, ракушка, привезённая мамой с Чёрного моря, фантики от заграничной жвачки Wrigley (это уже отец), вкладыши с Лёликом и Болеком, куколка, скатанная из ваты, с косой из маминого синего мохера, в платице из кусочка тюля, который ты сама аккуратно и, кажется, незаметно отрезала от занавески. Да, всё это твое. А там ещё солдатик мальчика из соседнего подъезда, с которым вы играли, его же зелёные пробки от иностранного пива с бочонком и (главное!) робот, которого этот мальчик сделал специально для тебя из чертёжного ластика, скрепок и пустых стержней шариковой ручки.

И вот ты рассказываешь соседке, которую считаешь своей подругой, об этом секретике, показываешь, где именно, в сквере рядом с церковью у Никитских Ворот, ты его закопала и берёшь с нее клятву, что никогда и никому она не проговорится об этом. И уже на следующий день в классе тебе с задней парты лыбится дылда Васильев и показывает, как робот, тот самый, ты уверена, взбирается, влекомый ниткой, по наискось поставленному учебнику русского языка.

И тебе хочется плакать. Тебе хочется плакать, потому что нет больше никакой дружбы. И ты поднимаешь руку, просишься выйти, а потом в туалете плачешь и плачешь, пока не прозвенит звонок на перемену.

Да-да, от этого момента, или ещё раньше, когда ты узнаешь, что мальчишки-одноклассники, те, что ещё вчера весело гоняли с тобой в штандер, вчера ходили с сёстрами Белозёровыми за гаражи играть в больницу.

И сёстры показали им свои белые худые попы в розовых прыщиках, а одноклассники Димка и Артур просили их писать и наклоняться, чтобы можно было увидеть что-то, что непристойно, что нельзя видеть мальчикам, чтобы оставаться твоими друзьями. Это они же потом тебе и расскажут, осуждая сестёр и смакуя подробности.

А может быть, что-то было и раньше. Скорее всего, было, только ты не помнишь – гомункулус стоит, трясёт бантом и смеётся. И если ты пытаешься заглянуть за него, он подпрыгивает, корчит рожи, машет своими шестью руками, в каждой из которых по плюшевому медведю, и не позволяет.

В детстве зло всегда торжествует. Оно торжествует даже тогда, когда должно быть побеждено, когда его победили совместными усилиями мама, папа, учительница и твоя соседка по парте. Но это ненадолго. Уже вечером во дворе оно настигает тебя вначале смешками одноклассниц, потом тычками в бок, потом выбитой из-под тебя скамейкой качелей. И это только начало, только прелюдия к кошмару, который может не прекращаться годами.

Дети жестоки. Природа их жестокости в невинности, сиречь в неразличии добра и зла. Где ж те яблоки? Где древо? Не та ли эта рябина за спортивной площадкой, на ветке которой шестиклассники повесили Рыжика – любимца двора, метиса лайки? Той зимой гроздья показались Сашеньке особо красными.

Но ничто не сравнится с переходом в другую школу. Это как умереть. Это хуже чем умереть, потому что это так долго, что непонятно, когда закончится: а вдруг навечно?

Через год после маминой смерти Сашеньку перевели в ту же школу, в которую ходил Артём. Бабушка Артёма, до своего окончательного ухода на пенсию два года назад, работала здесь завучем и учителем немецкого языка. Её помнили, уважали, иногда по старой памяти приглашали на замещения. Она же через знакомых в РОНО устроила перевод в класс, который ей казался хорошим и который она как классный руководитель, сама приняла из начальной школы. Эта всё самообман взрослых, придумавших однажды, что мир логичен и справедлив… Бабушка Варвара лично привела Сашеньку в класс первого сентября и представила своей внучкой. Лучше бы она этого не делала. И лучше бы Сашеньке оказаться средненькой дурочкой, запутавшейся ещё в десятичных дробях или – это уже последняя граница – в знании того, что есть такая штука – первая производная. Но Сашенька, на беду свою, училась хорошо, голову имела светлую, а почти совершенная память позволяла ей запоминать любой материал ещё на уроке.

К ней присматривались две недели. Две недели с ней не то чтобы не разговаривали, но никто не проявлял инициативы. Её могли просить передать ластик или твёрдый карандаш, брали и возвращали, не говоря спасибо. Когда Сашеньку вызывали к доске – а вызывали её часто, педагоги хотели оценить уровень знаний новой ученицы, – она отвечала урок при полном молчании класса. Тогда как если отвечал кто-то другой, на задних партах хихикали, кто-то скрипел стулом, кто-то шуршал целлофановым пакетом, кто-то щелкал жвачкой. Ей ставили пятерку, она шла к себе за парту, никто на нее не смотрел. Нет, не так. Смотрел мальчик, тот, что сидел сзади ее. И другой мальчик, фамилия которого была Крол. И ещё один мальчик, который ходил на переменах с независимым видом с острым воротником рубашки поверх воротника школьного пиджака. Галстук он не носил, уверенно нарушая форму одежды. Может быть, кто-то ещё смотрел, но Сашенька не замечала. Главным было то, что девочки класса ее игнорировали. Это становилось невыносимым.

Во вторник, на перемене перед географией, когда Сашенька стояла у окна и наблюдала, как школьный дворник борется с проржавевшим вентилем поливалки, к ней подошли две одноклассницы-неразлучницы, которые ей нравились и с кем она была бы рада подружиться.

– После школы что делаешь?

– Ничего, – ответила Саша.

– Тогда пойдём с нами, покажем тебе н а ш е место.

Сашенька согласилась. Она обрадовалась: кажется, её принимали в компанию.

…Сашеньку били больно, по-девчоночьи жестоко – вшестером или ввосьмером, она не успела заметить. За школой, где кусты акации росли особо густо, в них оказался проделан лаз на небольшой пятачок, скрытый от посторонних глаз. Здесь старшеклассники курили, целовались, иной раз и пили поочередно из украденного из автомата с газировкой стакана купленный по их просьбе знакомыми выпускниками «сухач». А сейчас здесь били Сашеньку.

– Решила стать самой умной? – спросила тонкая и красивая Лиза, сидевшая за соседней партой.

Кто-то со смехом толкнул Сашеньку ногой в спину, она упала. Ее подняли, стали пинать внутри круга, всякий раз то хватая за волосы, то больно щипая. Вдруг кто-то, Сашенька не заметила, кто ударил её под дых. Она скрючилась, пытаясь вздохнуть. Девочки же повернулись и по одной стали протискиваться через лаз.

Последней оказалась Лиза. Она обернулась, выпрямилась, достала из сумки пачку «Стюардессы», ногтем выбила сигарету и красиво прикурила от пальчиковой зажигалки.

– Теперь думай, дрянь! Старая сучка тебе не поможет. Её тут никто не боится.

Лиза сплюнула, щёлкнула сигаретой куда-то вверх, крикнула «Иду!» зовущим её подружкам и тоже скрылась за кустами.

Возвращалась в свой новый дом Сашенька всегда одна. Школа находилась от дома в нескольких остановках на трамвае. Артём после уроков ходил ещё на кружки, но просил девочку не ждать его, а добираться домой самостоятельно. Хватало и того, что они к первому уроку ехали вместе. Он сам был внуком завуча и понимал, что это тяжёлая ноша. А «внучка бывшего завуча» звучало почти приговором. Пока Сашенька приводила себя в порядок, пока оттирала грязь и кровь с коленок смоченным слюной носовым платком, пока расчесывалась обломком гребня (по ее сумке изрядно потоптались), начало темнеть. На остановке трамвая она встретила Артёма, идущего из кружка классической гитары. Он оглядел Сашеньку критически, обошел вокруг, поцокал языком.

– Начинаешь взрослую жизнь?

Произнесено это было без злорадства, Сашенька почувствовала, что Артем расстроен.

Потом они ехали вместе на задней площадке полупустого трамвая. Сашенька плакала, а Артём стоял рядом и, краснея, гладил ее по волосам. В том трамвае, наклонившись к уху Артёма, Сашенька «вербовала» брата в разведчики. Она шептала и шептала в горячее, красное ухо, заклиная и моля. Их папа был в очередной своей командировке – заканчивался сентябрь.

Ich frage mein Maus: Vo ist dein Haus? Где? Где-то очень-очень далеко, где-то в таком месте, куда забредают лишь редкие пьяные в миг, когда они счастливы и им покровительствуют Боги. Боги тогда собираются вместе, им хорошо и весело, они поют песни и вспоминают, как были молоды и достаточно глупы, чтобы сотворять миры, а не просто пить амброзию и играть в петанг. Богам нет нужды думать о смерти, они придумали её для людей, чтобы те не слишком досаждали и не важничали. Людей боги создали из глины и соломы, а смерть – из вчерашних обид и безнадёжного вечного одиночества. Этого добра в космосе оказалось завались. И где же твой дом, мышка? Где же твой дом?

5

В детстве Сашенька болела редко. Мама девочку излишне не кутала, старалась закалять. После купания всегда окатывала прохладной водой из огромного синего эмалированного кувшина с белой ручкой. С младенчества приучена была Саша к лёгким курточкам, вязаным шапочкам на морозы да открытым лёгким рубашечкам летом. От того и сквозняков она не боялась, а когда в школе случались эпидемии гриппа, оказывалась дома только когда весь класс отправляли на карантин.

Неожиданно свалившаяся на неё в двадцать восемь лет краснуха больше удивила ее, чем напугала. И это щемящее ощущение выздоровления, когда ещё слабость, но мир уже выбрался из полутонов в чистые краски, было плохо знакомо девушке, а потому интересно и ярко переживаемо.

В доме Альберта она освоилась быстро. По утрам, когда Альберт уезжал на службу в Управление, а

домработница переставала гудеть пылесосом и щёлкала замком, запирая входную дверь, Сашенька спускалась вниз, в огромную столовую, совмещённую с кухней, и сидела в одних трусиках и бюстгальтере на высоченном барном стуле, поджав под себя одну ногу. Из столовой по застеклённому переходу можно было попасть в каминный зал – своеобразную гостиную, где вдоль стен стояли кресла с подлокотниками и гнутыми спинками, а большой участок пола перед самим камином, высоким и по-немецки основательным, покрывала огромная шкура белого медведя. Из каминного зала шла причудливо витая деревянная лестница на застеклённую террасу с тиковым полом, уставленную цветами в горшках так плотно, что её уже можно было бы назвать оранжереей. Оттуда по коридору можно было попасть в холл над столовой с мягкими диванами и огромной панелью телевизора на стене. Сюда же выходили двери спален.

Альберт Альбертович отвёл для Сашеньки небольшую комнату в левом крыле дома, единственную, дверь из которой открывалась не в холл, а в небольшой коридорчик, заканчивающийся окном на ельник за границей участка. В комнате скучал новёхонький письменный стол из красного дерева, стояла полутораспальная кушетка, дубовый комод с вензелями (подделка под старину) и в тон комоду дубовый платяной шкаф с тяжёлыми дверцами. На кушетке Сашенька иногда позволяла себе поваляться днем. Покрывала за тот месяц, что она находилась тут «на реабилитации» (так называл её пребывание в доме Альберт Альбертович) Сашенька так ни разу и не сняла. Ночью она спала на широкой, укрытой балдахином кровати Альберта Альбертовича, уткнувшись лбом в его жилистую мускулистую руку, загорелую, с упругой кожей, так не похожую на руку пятидесятилетнего мужчины.

Она много гуляла. Когда выходить на улицу не хотелось, читала, сидя перед камином на шкуре медведя, облокотившись на его голову с желтыми клыками. Камин она не зажигала, чтобы не множить пошлость. Ей вполне хватало тепла от радиаторов центрального отопления. Иногда Сашенька включала радио и слушала его через массивные колонки. Она несколько раз тщетно копалась в дисках, но ничего, что хотелось бы слушать, не находила. Подбор музыки, очевидно, был рассчитан на романтическое сидение перед камином, охмурение и последующее соитие. А Сашеньке хотелось чего-то бодрого. Наконец она выловила некую чуть шипящую волну, на которой крутили то, что ей нравилось, и без разговоров. Её и слушала.

Книг в доме оказалось много. Размещались они на стеллажах плотными рядами, выставив вперёд, словно проститутки колени, кожаные основательные переплеты. По всей видимости, составляли они когда-то чью-то любовно собираемую библиотеку, купленную нынешним хозяином по случаю для солидности, в заботе об интерьере. Издания сплошь редкие, дореволюционные, многие книги с неразрезанными страницами. Это ещё когда неразрезанными! Так с удивлением Сашенька нашла первое издание Даниэля Дефо с иллюстрациями Густава Доре.

Альберт книг не читал. На столе у него лежала стопочка справочников, гражданский кодекс, а на тумбочке перед кроватью – Новый завет в клеёнчатом переплете. Но и это, скорее, была демонстрация богобоязненности, атрибут респектабельности, как и всё, что окружало в этом доме Сашеньку. Среди книг попадались прекрасно изданные, но невероятно слащавые и пошлые романы девятнадцатого века. Наверное, такие заказывали у издателей провинциальные барышни по каталогам, чтобы потом вздыхать над ними и поливать страницы каплями своих экологически чистых слез, настоянных на парном молоке, домашнем хлебе и игре в трик-трак с сыном соседского помещика. Сашенька в шутку представляла себя такой барышней, откладывала книгу, заложив календариком, накидывала на голову и плечи пуховый платок, забытый или намеренно оставленный кем-то на кресле в оранжерее, и выходила на двор, чтобы протоптать в свежевыпавшем снегу петроглифы следов. Она намеренно не надевала куртку, ограничиваясь платком. Сашеньке нравилось, как холодный ноябрьский воздух забирается за манжеты, рассыпая по локтям острую крупу мурашек.

За домом прятался небольшой причудливый сад, в создании которого поучаствовали ландшафтные архитекторы, а теперь ухаживал приходящий садовник. Сашенька увидела его из окна после первого серьёзного снегопада. Он приехал в лимонного цвета комбинезоне и бродил толстой усатой канарейкой по дорожкам, отряхивая снег с кипарисов и высвобождая широкие листья бадана. Труд его оказался напрасен – три следующих дня снег падал, не переставая, завалив сад так, что кабы не торчащие рядками из земли фонарики, стало бы не разобрать, где дорожки, а где собственно клумбы. Разве что причудливая альпийская горка с зелеными, путаными листьями барвинка торчала неаккуратным безобразием середь неожиданной белой аскезы ноября.

Сосны, росшие за границей участка, облюбовал дятел. Он прилетал каждое утро и подолгу сосредоточенно выстукивал личинки из-под коры. В детстве Сашенька думала, что дятел так мастерит дупла для других птиц. Впрочем, она и сейчас продолжала в это привычно верить, хотя знала, что это не так. Альтруизм дятла не казался Сашеньке чем-то противным природе. Гуляя по вычищенным работником дорожкам сада, она вглядывалась в темень за границами участка, пытаясь разглядеть, на котором стволе сидит маленький шумный гость. Радовалась, когда удавалось заметить его красную шапочку и тщедушное тельце, уцепившееся лапками за красноватую, в подпалинах, кору сосны.

Как-то за ужином Альберт упомянул, что на участок повадилась ходить лиса, дескать, сказали узбеки, что чистят дорожки. Но кроме работников ее никто не видел. Следы, однако, пересекали сад

наискосок, из дальнего угла, где у забора манила морозной горчинкой молоденькая рябина до калитки на соседнюю аллею, закрытой на висячий замок и не используемой, стелились вдоль ограды, подходили почти к дому в районе заднего крыльца и вновь сворачивали к забору. Вряд ли суетливые чернобровые выходцы из тёплых краев так же хорошо читали лесные письмена, как очищали дорожки, следили за газом или как всю прошлую неделю гудели электроинструментом у соседа, затеявшего середь зимы построить на участке беседку. Следы могли принадлежать и кошке. Но Сашеньке нравилось думать, что это именно лиса. Она часами просиживала у окна в терпеливом ожидании мелькнувшего среди кустов рыжего меха.

Наконец лиса изволила показаться. Утром, стоя перед окном с чашкой кофе, Сашенька, скрытая за прозрачным тюлем, заметила, как небольшой тускло-рыжий зверёк с тёмными лапками осторожно пробирался по саду, то и дело прислушиваясь, огибая кипарисы и абрисы сирени. «Ну вот и ты, – радостно подумала Сашенька, – Надо бы тебя покормить». Она достала из холодильника сосиску, разломила ее, положила в белый одноразовый поддон из-под яблок и, стараясь не греметь замком, чуть отворила дверь в сад. Потом, не показываясь, кончиками пальцев подтолкнула поддончик вперед и так же аккуратно прикрыла дверь. Проделав это, Сашенька вернулась на свой наблюдательный пункт за тюлем. Лисы на месте не было. Она

скрылась, насторожившись на звук открываемой двери. Как Сашенька ни старалась, но чуткие уши зверька уловили и хруст замка, и шуршание полиэтилена по ступеньке. Почему-то Сашенька была уверена, что лиса не ушла далеко. Она пряталась где-то там, в облетевших кустах ивняка, стоящих в мороз словно вечно в тумане.

Наконец лиса показалась. Она стелилась, прижимая брюхо к снегу, то и дело вертя головой с острыми ушами, принюхивалась. Вне всяких сомнений, лиса чувствовала запах сосиски, наверное, даже понимала, что это подачка, но идти по прямой к добыче ей не позволял инстинкт. Зверёк прыгнул в сторону, туда, где снег скрыл клумбу с барвинком, пробежался до яблони, посеменил мимо засыпанной туи и вдруг резко метнулся за угол, и вот уже деловито потрусил по дорожке, сжимая в зубах добычу.

Удостоверившись, что лиса существует, Сашенька теперь регулярно оставляла на крыльце поддон с лакомством. Иной раз, впрочем, лисе не доставалось. Девушка видела, как большая птица, тяжело махая пёстрыми крыльями, утаскивала сосиску. Но тем ни менее лиса зачастила к задней двери, причём, обнаглев, теперь уже не устраивала спектакль с кругами, а прямиком направлялась за подачкой.

Сашеньке стало интересно, где живет лиса. Как-то однажды, тепло одевшись (Альберт привез ей целый мешок одежды, заехав в ГУМ и приблизительно подобрав по размеру), она решила пройтись вдоль цепочки следов. Нашла связку ключей, а на ней один, явно подходящий к замку калитки на соседнюю аллею. Замок замерз, но это не остановило Сашеньку. Она сходила в дом, согрела чайник и вернулась уже с горячей водой, коей щедро полила замок.

Потом она макнула ключ в подсолнечное масло и уверенно зашерудила внутри скважины. Замок сдался. Сашенька припрятала бутылку масла в снег и вышла за калитку.

С той стороны забора до аллеи с домами было метров сто пятьдесят ничейной территории, на которой росли всё те же сосны, была натянута волейбольная сетка, а из-под снега торчал остов старых качелей. Цепочка следов вела мимо качелей, петляла, путалась сама с собой, но вдруг устремлялась к аллее, расчищенной грейдером и укатанной машинами. Сашенька прошла в одну и другую сторону, стараясь за отвалами снега различить на белом снегу продолжение следа. Наконец она заметила его, уже знакомо петляющего у пегого, в разводах грибка и мха, покосившегося штакетника не то бывшего пионерского лагеря, не то турбазы. Саша перелезла через брустверь, наваленный грейдером, и пошла по следу, проваливаясь почти по колено. Для ноября такой снегопад ещё третьего дня казался невозможным. Снег попадал в отороченные мехом ботинки, неприятно шуршал, намекая на то, что вот-вот – и станет сыростью. Но Сашенька, не обращая внимания на холод, высоко поднимая коленки, добралась до забора, доходившего ей чуть до пояса, оперлась на планку, перешагнула его, опасаясь, как бы не развалился, и стала подниматься вверх по чуть заметному пригорку, по снегу, усыпанному свежей хвоей лиственницы.

Следы вели к куче из набросанных досок, когда-то бывших стенами корпуса, с облупленной голубой краской. Сверху, со стороны склона, были они примерно занесены снегом, а снизу являли темень искусственной пещеры.

«Вот где ты живешь», – обрадовалась Сашенька, подошла поближе и попыталась разглядеть, что там внутри. Но как ни старалась, глаза не могли переключиться и различить, что скрывает темнота.

– Подругу мою шукаешь? А нет её сейчас, ушла по своим лисьим делам.

Сашенька вздрогнула от неожиданности. Метрах в десяти от неё стоял дед с толстовской седой бородой, в красной вязаной шапочке и ватнике. В руках он держал широкую лопату.

– Испугалась? Не бойся. Я не убивец какой, просто сторож. Александр Иванович.

– Я не испугалась, – Сашенька сняла перчатку и поправила выбившийся из-под берета рыжий локон. – Хотя немного неожиданно. Не думала, что здесь кто-то есть.

– Это понятно. Вон какое запустение, – дед обвел рукой окрест. – Раньше здесь пионерский лагерь располагался, это летом, а зимой работал как лыжная база. Теперь всё. Давно уже так стоит. Новые хозяева выкупили, а сами не то в тюрьму сели, не то деньги у них закончились. Только и хватает, что мне зарплату платить. Приезжает раз в месяц мальчонка такой аккуратненький в пиджаке, галстуке, привозит деньги, дает ведомость какую-то —расписаться, обходит территорию да и уезжает. Это восемь лет уже так. Всё время, что работаю. А мне что, мне хорошо. Живу на свежем воздухе, гуляю, читаю, физическим трудом занимаюсь, – дед помахал для убедительности лопатой, – а за это ещё и зарплату получаю.

– Здорово, – неуверенно промямлила Сашенька.

– Куда уж здоровее! – рассмеялся дед. – А тебя как зовут, девица-красавица, и откуда ты такая на вверенном мне объекте?

– Саша меня зовут, – улыбнулась девушка, – и я вроде как ваша соседка временно, живу за аллеей, – Сашенька махнула рукой вниз.

– В красном доме, что ли? – дед сощурил глаз.

– В красном.

– Это там, где мужик на чёрной «семёрке»?

– Ну да. Это Альберт Альбертович. Он хозяин дома.

– Точно! Альберт! – дед хлопнул себя по лбу. – Это тот Альберт, что приходил сюда пару раз, всё осматривал, телефон владельцев узнавал, видать, купить хотел. Такой серьёзный мужик. Он тебе кто? Отец?

– Нет, что вы, – Сашенька почувствовала, что краснеет, – так, вроде как родственник.

– Дядя?

– Нет, не такой родственник, – Саша расстроилась, что проговорилась.

– Понятно, – дед закашлялся, снял варежку, застегнул ватник плотнее, – значит, родственник. Ну, пусть родственник. А Патрикевна, стало быть, и к вам на промысел ходит. Вот ведь зараза! Глупый, ленивый зверь. Ей мышковать надо, а она по помойкам побирается. Какая еда на помойках? Для зверя – яд: соусы всякие, специи. Заметила, какой мех тусклый?

Сашенька кивнула.

– Сейчас начало зимы, мех должен сверкать, искриться. А тут мочалка какая-то. Всё человек вокруг себя портит, всё гадит. Дикий зверь и тот к дряни пристрастился, природу свою забыл. Что собака дворовая, что лиса. Прошлой зимой целый выводок побирался. Но, видать, либо постреляли, либо собаки подрали. Тут такие сташилища живут, ротвейлеры всякие, ещё какие-то огромные у банкира, не знаю, как называются, но страшные. Он их по двору бегать выпускает. А мне все кажется, что вот-вот перескачут через забор, и каюк мне. А лис совсем из того выводка нет. В этом году только две осталось. Этих я по лапам узнаю. У той, что у меня живёт, передние тёмные до локотков, а задние только сами пяточки, а у той, второй, что возле станции по большей части орудует, равномерно тёмные, и морда менее нахальная.

– У этой я морду не разглядела, но сосиски, что я ей выкладываю, таскает нахально.

– Вот-вот, все они такие, побирушники, – дед достал из кармана ватника кажущийся чистым носовой платок и отер им капли с усов и бороды. – Пойдем, тезка, ко мне, буду тебя чаем со всякими листочками да почками угощать. Раз эта чертовка тебя ко мне привела, нельзя же просто так отпускать. Да и поговорить мне охота, а то с радио начинаю спорить, как старый дед прямо.

– А нестарый дед с кем спорит? – рассмеялась Сашенька.

– Нестарый дед спорит с другими нестарыми дедами или с молодёжью неразумной навроде Тищука. Знаешь Тищука?

Сашенька отрицательно замахала головой.

– Это сторож в коттедже у Борисенко. Кто такой Борисенко знаешь?

Сашенька сконфуженно промолчала.

– Ну, даешь, девица-красавица! Это богатей такой известный, в правительстве Москвы работает, не то за стройку там отвечает, не то за дороги. Вон его особняк, – Сашенька посмотрела в ту сторону, куда указывал дед, и различила внизу, среди деревьев, темно-серую крышу большого дома.

– Понятно.

– Понятно ей, – крякнул дед. – Так вот, Тищук – парень, который у Борисенко работает мажордомом, а попросту – сторожем. Он с Украины, из Харькова, русский. Молодой парень, твоих где-то лет, ну, или постарше чуть. Повадился ко мне в гости ходить, покою от него нет. Всё ему нравится, как я из дерева режу, хочет научиться. Да я тебе сейчас покажу.

Сашенька поднялась ещё несколько шагов по склону и оказалась на расчищенной площадке со скамьей. Дед подмигнул ей, подхватил лопату и бодро зашагал по дорожке. За поворотом, скрытый от глаз зарослями ельника, стоял старый кирпичный дом казенного вида с широким крыльцом под бетонным козырьком. На козырьке тускнели буквы старого транспаранта: «Перестройку в массы!»

Дед заметил удивление Сашеньки и заулыбался.

– Вот, на перестройке всё тут и закончилось. Последние накладные восемьдесят девятым годом датированы. Я от нечего делать копался в канцелярии местной, собирал всякий хлам на выброс, бумажки паковал, в макулатуру думал сдать, да потом рассказали мне, сколько по нынешним временам стоит килограмм макулатуры, так всё и пожёг в печке. Прекрасная растопка все эти бухгалтерские документы. Да ты входи, щёки уже, гляжу, белые от холода.

Дед распахнул перед Сашенькой крашеную суриком дверь и пропустил девушку вперёд.

– Тут света нет, сейчас дверь закрою, чтобы не выстужать, а ты иди прямо коридору, там комната. Тяни дверь на себя за ручку. А я за дровами схожу, заканчиваются, – на этих словах входная дверь хлопнула и Сашенька оказалась в полной темноте.

Она прошла вперёд шагов двадцать, вытянув руки, пока действительно не упёрлась в дверь. Потянула на себя ручку. Дверь удерживала тугая, не по нынешним временам злая пружина. Внутри было тепло, светло и пахло какими-то травами. Комната имела обжитой вид. На окне занавески, на подоконнике – книги. Книги на книжной полке, на длинном письменном столе, на серванте казённого вида с облупленным боком, на такой же казённой тумбочке. Кровать с железной дугой спинки аккуратно застелена клетчатым одеялом. В углу небольшой деревянный верстак с тисками, на стенке множество инструментов, укрепленных каждый отдельно. За верстаком – шифоньер без одной дверцы, но с зеркалом. В шкафу на вешалках виден ровный ряд рубашек, костюм в елочку. За шкафом опять тумбочка, с чем-то, что укрыто клетчатой скатертью. В углу, до самого потолка, – круглая, крашеная голубой краской печь-голландка. Обеденный стол, накрытый вытертой, местами порезанной, но чистой клеенкой. На столе, на самом важном месте – старый ламповый приёмник VEF с зелёным глазком, от него вверх блестящая медная проволока, заканчивающаяся на гвозде, вбитом в стенку. Рядом с приёмником на табурете автомобильный аккумулятор, от которого провода идут к приёмнику и к лампочке под потолком. Лампочка – в самодельном абажуре из тонких жёрдочек и листочков бумаги с неумело, но тщательно выписанными акварелью цветами.

Всё в этой комнате говорило о том, что её хозяин – человек основательный, неспешный, уютный внутри себя и распространяющий этот уют наружу. Сашенька подошла к кровати и подняла книгу, лежащую на ней, обёрнутую в глянцевую страницу модного журнала. Раскрыла. Это оказался томик Фицджеральда. Она высвободила обложку: да-да, точно такой, какой был у неё дома, красный, с машинкой в правом нижнем углу, из собрания сочинений в трёх томах. Мама купила его в Доме Книги, отстояв длиннющую, на двое суток очередь. Она помнила это, хотя была совсем маленькая. Или ей казалось, что она помнит, а просто мама много раз рассказывала про то, как она бегала записываться и отмечаться в очередь за книгами.

В последний раз мама так стояла в очереди за подпиской на Солженицына. За год или за два до смерти. Кажется, тогда очереди за книгами стали редкостью, чаще встречались очереди за крупой или вином. Сашенька потом ходила и выкупала тома в отделе подписных изданий. Такие разноцветные книжки издательства «Новый мир» по цене четырнадцать рублей, которые стоили уже не то пятьсот, не то восемьсот рублей. Сашенька уже не помнила те цены, но помнила, как она не могла понять, почему должна в десятки раз переплачивать, если указана совсем иная цена. Денег было мало, у тёти Нины она попросить стеснялась, но, сэкономив на всём подряд, книжки она продолжала выкупать в память о маме. Сашенька тайком приезжала в свою квартиру и ставила их за стекло в сервант. Тайком… Разве ей запрещали? Наверное, нет, кажется, об этом вообще не шло речи, только она тем ни менее никому не рассказывала об этих своих поездках.

Вдалеке хлопнула дверь и по коридору загромыхали шаги тяжёлого человека. Взвыла пружина, дед протиснулся в образовавшуюся щель и прямо у входа свалил огромную стопку белёсых березовых поленьев.

– Уф, – выдохнул он, – никак не могу собраться и поменять эту чертову пружину. Уже все бока мне отбила, прищемила всё, что только возможно. Это когда первый год здесь жил, всё никак согреться не мог, утеплялся. Всё казалось, что через щели в двери сквозит. Обил войлоком, пружину эту в каком-то корпусе нашел. А всё холодно. И только на вторую зиму догадался в подпол слазить. А там, оказывается, весь чёрный пол сгнил и отвалился, мне через щели и сифонило. Потом починил, заделал. Совсем другое дело стало. А ты чего стоишь и не раздеваешься? Вроде тепло? Печь не остыла, а мы её сейчас ещё дровами накормим. Раздевайся, не стесняйся.

– Простите, не успела еще. Вот, вашу комнату разглядываю.

– А тут особо нечего разглядывать. Холостяцкое жилье пожилого человека.

– Много книг.

– У меня дома, в Алма-Ате, их в десять раз больше было.

– Вы из Алма-Аты? – удивилась Сашенька. – А вроде как русский. Александр… – Сашенька замялась, вспоминая отчество.

– Иванович, – подсказал дед. – Все мы русские, когда от нас что-то нужно, а когда нам что-то нужно, то басурмане, гастарбайтеры, люди без родины и гражданства. Такие дела, девица-красавица.

– Не понимаю. – Сашенька сняла куртку, повесила её на крючок у входа и села на стул, ожидая, что дед ещё что-то расскажет.

– А что тут понимать? Родился во Пскове, учился в ЛГУ на кафедре полезных ископаемых. Закончил. Это ещё в шестьдесят втором было. Распределился в Алма-Ату, в тамошнее отделение Академии наук СССР, проработал четверть века. Меня, кстати, сам Есенов приглашал.

– А кто это? – фамилия была Сашеньке не знакома.

– Эх, детский сад… – Дед раскрыл дверцу голландки и пошебуршал внутри кочергой. – Уважаемый человек был, на весь союз известный, министр геологии Казахской социалистической республики. Это когда я уже младшим научным работал, его председателем академии наук назначили. Я кандидатскую защитил, заведующим сектором стал, мне Шахмардан Есенович квартиру двухкомнатную выбил от академии. Хороший был человек. И ученый настоящий, и человек настоящий. Теперь таких нет. Ни там, ни здесь. В той квартире у меня оба сына родились. Один в шестьдесят восьмом, другой в семидесятом. Второй лет на десять тебя, наверное, постарше. Ну а после оказался гражданином Казахстана. И там не нужен, и тут не ждан. Такие дела.

– Грустно. А тут как?

– Да вот так. Устроил меня бывший однокашник, теперь уважаемый человек. У него в посёлке дом. Хотел, чтобы я у него жил, да я не могу вот так, бедным родственником, приживалой. Тут, какая-никакая, а служба. Зарплата капает, жилье имеется. Сам иногда себе завидую. Что ещё человеку требуется?

– Что? – Сашеньке показалось, что дед знает ответ.

– Много будешь знать, скоро состаришься, – неожиданно изрёк тот и с грохотом захлопнул дверцу печки, в которой уже гудело щедрое на тепло пламя.

– Ну, Александра, как там тебя по батюшке?

– По отчеству Дмитриевна, а по батюшке Геннадьевна.

– Это как это? – удивился дед.

– А вот так. Секрет. Тайна. Разведка.

– Темнишь ты что-то, девица-красавица. Ну-ка, рассказывай.

Сашенька лукаво улыбнулась.

– Много будете знать, ещё больше состаритесь. В другой раз, если получится. Что-то не хочется мне сегодня тайнами делиться. А вы про какую-то резьбу по дереву говорили. Показывайте.

Дед поднялся с колен, отряхнул штаны. Подошёл к тумбочке и картинным жестом сорвал скатерть с того, что было под ней скрыто.

У Сашеньки от изумления и восторга зачесались запястья.

Большая, под метр в высоту коряга была сплошь покрыта причудливой глубокой резьбой. Что-то босховское, многоглавое и многорукое словно шевелилось вдоль сучковатой коряги, давшей приют этой мистерии, в коей не видать было ни причины, ни начала, ни даже повода, к чему весь этот ужас или вся эта красота вырезалась.

– Ох, – только и смогла выдавить из себя Сашенька, – Что же это?

– Ага! – Дед явно наслаждался произведённым впечатлением, – Это, девица-красавица, – древо познания добра и зла, не как его задумал Господь, а как его увидели человеки.

– Что ж так мрачно все? – Сашенька, поежилась – ей казалось, что каждая фигурка, каждый изгиб бесчисленных малых деревянных плотей забирают её взгляд.

– Я был готов следовать школе Возрождения. Конечно, не alla prima, дерево такого не позволит, но старался следовать всем его волокнам, всем сучкам. Они и подсказывали. Я только доводил. Всё тут было изначально. Веришь?

Сашенька замялась. Ей не хотелось признавать всякую чертовщину.

– И правильно, что не веришь. – Дед рассмеялся, вытащил из кармана пачку «Беломора» с прогрызенной дыркой и выбил из неё папиросу.

– Давно хотел резьбой заняться. А тут у станции мужик набор стамесок для резьбы продавал. Не пожадничал, купил. Решил, что забавно. Получилось неплохо. Допускаю, что очень неплохо. Но знаешь, чем художник отличается от нехудожника?

Сашенька пожала плечами.

– У художника есть «до» и есть «после», каждый положенный им мазок – продолжение длинного ряда мазков его собственных и его учителей, его учеников, и так до бесконечности. А нехудожник все делает случайно, а дальше бежит по своим делам. В моем случае это – колоть дрова и чистить дорожки.

– А дальше? – Сашенька сняла ботинки и протянула ноги к гудящей печке.

– Что дальше? – Дед замер с чайником в руках.

– Ну, дальше, после дорожек? Как можно жить спокойно, если случайно написал Мону Лизу или случайно вылепил роденовскую «Весну»? Разве можно так вот запросто занять в долг таланта? Не замучает кредитор?

– Удивительная ты, тёзка, – Дед грохнул пузатый зелёный чайник с изогнутым носиком на плитку и подкрутил газ. – Вроде маленькая, а вопросы взрослые. Варенье из брусники будешь?

Дед поставил на клеёнку белую фарфоровую миску, достал из тумбочки трехлитровую банку с вареньем, наполовину уже пустую, и деревянной, видимо, тоже самостоятельно вырезанной ложкой щедро отмерил ароматных, переливающихся сладким сиропом ягод.

– Занять талант невозможно. Это же не червонец. – Дед достал из шкафа миску с нарезанными ломтями белого хлеба и поставил перед Сашенькой. – За вдохновение платится трудом. Это не кредит, это быстро. Тебе вдохновение, будь ты художник, математик, плотник или дворник, а ты обратно труд: дорожку, аккуратно выметенную, скамейку ладную, картинку яркую.

Бывает и путаница: дворник стихи пишет, музыкант картины красит, математик паяет что-то самозабвенно. Хобби называется. А на деле так просто плата за вдохновение. Я о том много думал. Ещё когда студентом по таёжным речкам ходил с молотком.

Ноги у Сашеньки в тепле загудели, заныли, отогреваясь. Старик поставил на плиту сковородку, и скоро в комнате завитал запах грибов с луком.

– Странный вы. – Девушка залезла с ногами на табуретку, уместившись на ней, словно на жердочке, положив голову на колени и нагнув голову. – Это у вас от одиночества.

– Все старики одиноки, дочка. Даже те, у кого десять детей и двадцать внуков. Всё едино одиноки. Они уже на берегу, от которого баржа отплывает. Машут-машут, перекликаются. А как скроется баржа из виду, так и станут они этим берегом.

– Грустно… – Сашенька почувствовала в словах деда горечь.

– Обычно. Да и ничего грустного. Хорошее время, чтобы понять про жизнь. Раньше не успеваешь, всё куда-то торопишься. А тут, на берегу, вроде и смешно торопиться. Вот я, – дед хмыкнул, – вроде старею, а слышать больше стал. Раньше звуки не замечал, раньше они фоном для меня были, а теперь смыслом, частью времени, которое вокруг. Вот ты что сейчас слышишь?

Сашенька подняла голову с колен.

– Как дрова в печке трещат. В сковородке шкварчит. Чайник закипает.

– Прекрасно. Это у тебя перед носом. А дальше, ну, чуть дальше?

– Часы где-то тикают. Я их не вижу, но они где-то в комнате тикают.

– Молодец! А дальше?

– Собака на улице лает. И вроде давно лает. Птица какая-то кричит. Вон электричка подъехала. Остановилась. Сейчас двери зашипят. Кажется, слышу, как двери шипят.

– А ещё дальше? У тебя получается, – дед потёр от удовольствия руки.

– Голоса какие-то. Дети, наверное, но не разобрать, что кричат. Машина едет. Музыка играет. Поёт кто-то. Или нет. Просто музыка. Гудит что-то. Далеко гудит. Самолёт? Но это мне уже, видать, чудится, – Сашенька рассмеялась.

– Может быть, что чудится, а может быть, что нет. Вон, посмотри! – дед кивнул на окно.

Там наверху, над верхушками сосен сверкал на солнце торопливый крестик далёкого самолёта. Он перемещался от левого края рамы к правому, где кусочек отбитого стекла был приклеен скотчем, а угол законопачен ватой.

– Ты ведь могла его не услышать, не узнать о нём, а услышала. Потому что жизнь требует внимания, а не скорости. Это как еда: чтобы наесться, не надо глотать и глотать новые куски, так и подавиться недолго. Надо пережёвывать тщательнее.

– Здорово! – Сашенька зачем-то потерла мочки ушей. – Очень хорошо, что я вас встретила. Мне сейчас вот такого разговора и не хватало. О чем-то, что для многих пустяк и неважно, а на самом деле это и есть важное. Спасибо вам, Александр Иванович.

Они сидели до сумерек. Дед, изголодавшийся по общению, рассказывал про свою молодость, про Джезказган, про сыновей, про товарищей, которых «много на берегу». Он трижды ставил чайник. И чайник уютно сипел, подрагивая крышкой. Так, как умеют только старые чайники, с ржавчиной на боку, извёсткой в носике и ручкой, замотанной синей изолентой.

6

Однажды папа отвёз их с мамой под Серпухов на Оку, на какую-то турбазу, что примостилась на высоком берегу широкой воды. Они приехали на электричке пыльным понедельничьим утром и долго ходили из одного магазина в другой, покупая продукты на целую неделю. Папа уверял, что на турбазе есть столовая и можно питаться, но мама хотела подстраховаться. В каждом магазине приходилось выстаивать очередь, нужной снеди не оказалось, и они купили каких-то консервов, каких-то не очень свежих овощей, набив всем этим специально приготовленный синий рюкзак. Потом они долго не могли найти остановку автобуса, который должен был отвезти их на турбазу, папа шёл с рюкзаком за спиной, с двумя полными сумками в руках. Там лежала их одежда, книги, Сашенькины игрушки. Когда папа снял рюкзак, то его клетчатая голубая ковбойская рубашка оказалась мокрой на спине. После они бесконечно долго ждали этот проклятый автобус. Папа нервничал, ветер теребил его мокрую рубаху, мама успокаивающе поглаживала папу по руке, а Сашенька то и дело подскакивала на месте, когда очередная жёлтая кабина с запылёнными стеклами показывалась из-за поворота. Но опять это оказывался не их номер. К ним несколько раз подходили таксисты, вертя ключи на цепочке, предлагали отвезти, и папа разговаривал с ними, словно не видя их, отворачиваясь в сторону. Но вот он не выдержал и через полтора часа напрасных ожиданий сдался. Таксист с победным выражением лица (Сашенька может поклясться, что запомнила его!) укладывал их вещи в багажник. Он был широкий, загорелый, ростом ниже отца, но чувствовалась в нём наглая уверенная сила. Он подхватил одной рукой синий рюкзак и швырнул его внутрь багажника. И банки с консервами отозвались глухим стуком.

Они проехали через Серпухов, спустились вниз по узкой улочке, перевалили мост и дальше катились вдоль каких-то полей минут пятнадцать, пока не свернули в лес и не запрыгали на швах бетонки. Турбаза оказалась совсем близко, но таксист содрал с папы много денег. Она помнит, как отец достал из заднего кармана джинсов свой коричневый бумажник и с сожалением протянул таксисту деньги. Тот с усмешкой взял, сказал «сдачи нет», сел в машину, хлопнул дверью и, дымно газанув, попылил назад по бетонке.

Для другой семьи отпуск папы закончился в понедельник, он даже вышел на работу, а после «пришлось ехать в командировку». Но это была неправда, это было для той, второй жены. Сашенька подслушала их с мамой разговор. Нечаянно. Или нет, специально, сделав вид, что спит. На самом деле у папы оставалось ещё целых две недели. Он давно придумал взять маму с Сашенькой и пожить в тихом месте на Оке. «Две недели с любимыми моими девочками», которым он «вечно благодарен за уютную любовь и постоянную готовность дожидаться».

Сколько раз папа порывался раз и навсегда объясниться ТАМ и зажить наконец так, как ему казалось правильным. Но всё было запутано, сплющено и подвешено на тонких проводах, по которым в дома, где он ночевал, втекало утлое электричество. Да и мама была против. По крайней мере, так она говорила. Так слышала Сашенька. Она уверяла, что не хочет ссориться с подругой, не хочет никаких войн, которые могут последовать за этим. Ей и так хорошо, пусть счастье урывками, но тем прекраснее, тем сильнее. Ведь он всегда с ней рядом, она ощущает это, пусть даже и не звонит по несколько дней или целыми неделями не приходит. Было ли это так на самом деле или мама инстинктивно защищала и отца и себя, да и дочку от неприятных эмоций, никто так и не узнал.

Турбаза. Какая это была прекрасная турбаза! С небольшими деревянными домиками, в каждом плитка и веранда. На веранде круглый стол и стулья. В комнате три кровати с мягкой пружинной сеткой, такие, что если прыгать на них, как на батуте, то кажется, что либо достанешь пятками до пола, либо стукнешься макушкой о низкий потолок. И бадминтон между сос-

нами с красными стволами. И воланчик, который так и норовил попасть на козырёк крыльца медпункта… Сашенька забиралась на перевёрнутую пожарную бочку, оттуда, держась за балясину, ступала на карниз, отталкивалась ножкой в голубой тенниске, подтягивалась и оказывалась на буром, в пятнах мха, горячем шифере, усыпанном в несколько сезонных слоев сосновыми иголками.

– Тут ещё воланчик! И ещё! Дядя Гена, мама, тут ещё три воланчика!

Она спускалась, соскальзывая по столбу, подпирающему крышу, и бежала к родителям, неся в руках сокровища – целых четыре воланчика и серый, облезший, но целый мячик для тенниса.

Они даже ловили рыбу в Оке. Вернее, они пытались ловить рыбу. Папа договорился с завхозом и тот дал ему две снаряжённых удочки, удилища которых, вырезанные из длинных веток орешника, явно остались с прошлого заезда. Сашенька с папой два часа бродили вдоль берега, переворачивая камни в тщетных попытках найти червей, пока всё тот же завхоз не продал папе целую банку прекрасного навозного червя, чем прекратил эти ставшие утомительными поиски. Потом мама сидела в цветастом шезлонге на песке и читала книгу, а папа таскал Сашеньку за собой из одних зарослей прибрежной осоки и тростника в другие. Они забрасывали и в тихие затончики, и на стремнину, меняли глубину, но все напрасно – рыба не клевала. Несколько раз леска запутывалась в свисающих над Окой ветках ивы, и тогда папа начинал чертыхаться и лез на дерево, чтобы нагнуть ветки ниже, а Сашенька пыталась распутать блестящую, тонкую паутину. Папа сердился, но невсерьёз. Мама смеялась.

На турбазе они прожили пять дней, после чего решили прокатиться в Серпухов и посмотреть достопримечательности. На двери домика администрации висело расписание автобуса, которое папа тщательно переписал. После завтрака они, взяв с собой зонтики (по радио обещали дождь, хотя на небе не было ни облачка) вышли за ворота и, отмахиваясь от слепней, которые так и норовили с налету укусить либо под коленку, либо в шею, через лес дошли до остановки. Автобус, конечно, по расписанию не пришёл, но опоздал не более чем на пятнадцать минут.

Был он переполнен, мутная жара вязко дышала от задней двери до передней. Папа открыл люк, и сразу какая-то тётка закричала противным голосом: «Эй, закройте! У меня ребенок потный!» Сашенька почему-то запомнила этот крик, этого «потного ребенка». Запомнила, что она смеялась и никак не могла остановиться, хотя папа с мамой хмурили брови и шептали, что смеяться неприлично.

Потом они бродили по Серпухову, вверх и вниз по его улочкам, любовались открывающимся видом, пили квас из жёлтой бочки на площади. Потом пошёл дождь, и папа с мамой всё никак не могли открыть молнию у сумки, чтобы достать зонтики. И они вымокли почти насквозь, пока наконец не достали те треклятые зонтики. Но им было смешно, все смеялись.

А потом папа решил, что ему надо позвонить на работу и узнать, всё ли там в порядке. Он зашёл в телефонную будку, но автомат не хотел соединять с Москвой, а только съедал одну за одной монеты. Наконец какая-то женщина, проходя мимо, сжалилась и посоветовала сходить на телеграф, где установлены междугородние автоматы.

– Вам же в Москву? Ну правильно, в Москву – это межгород.

Это казалось странным. Они прошли остановку пешком, нашли телеграф. Дождь закончился, и пахло сладко и тепло. Сашеньке кажется, что она и сейчас ощущает тот запах. Они остались с мамой снаружи, ходили вдвоем под ручку, высоко поднимая коленки, и смеялись от того, что лето, хорошо и все вместе.

Сашенька помнит, как папа спустился со ступенек и почти побежал к ним. А они ушагали уже далеко, в дальний конец длинного серого дома, на углу которого располагался телеграф.

Он спешил к ним, и Сашенька и мама чувствовали, (нет, предчувствовали!), что сейчас произойдёт что-то неприятное.

– Что-то случилось, Гена? – спросила мама.

– Егорий лютует, – коротко ответил отец.– Мне надо в Москву. А вы поживите ещё недельку. Сашке тут хорошо.

Папа не стал возвращаться за вещами, оказалось, что самое важное – документы – у него с собой, а остальное «бог с ним». Сашенька с мамой проводили его до вокзала, где он сел в первую после перерыва электричку. Двери за ним закрылись. Электричка свистнула и деловито застучала колесами на стыках.

Они остались с мамой одни. Опять накрапывал дождь. На остановке народу совсем не было. Автобус только что ушёл. Расписание осталось у папы в блокноте, но мама и так помнила, что следующий только через полтора часа. Они побродили по городу, а потом зашли в кино, купили билеты и попросились после начала сеанса в зал. Шла какая-то советская картина о милиции, но Сашеньке не хотелось смотреть, она сдерживалась, чтобы не заплакать. Ей казалось, что и мама сдерживает слезы. Они не досидели до конца фильма. В какой-то момент мама шепнула «пойдём!», и они просто вышли из зала. На улице дождь насквозь промочил воздух между домами, по улицам бурлили потоки, стремящиеся вниз, к реке. В сандалиях сразу захлюпало. Мама несла зонтик, стараясь закрыть Сашеньку от капель, но порывами ветра зонтик то и дело выворачивало, и пока они шли к остановке, промокли насквозь. Автобус подошёл точно по расписанию, против утреннего почти пустой, с запотевшими стеклами и шипящим приёмником, который слушал водитель. Волна то и дело уплывала, и Сашенька видела, как водитель, оторвав руку от руля, подкручивает колёсико, пытаясь поймать её обратно. И Сашеньке стало страшно, что водитель не смотрит на дорогу, а смотрит на приёмник, что держит руль не двумя руками, а одной. А дворники со скрипом с трудом успевают смахивать с лобового стекла не капли, а струи дождя. И этот дядька, чертыхаясь, то и дело доставал откуда-то снизу тряпку и протирал стекло, которое запотевало изнутри. И потом опять крутил колёсико приёмника, а автобус при этом мчался по шоссе. И дорогу не видно. И пахнет бензином. И качает. И душно.

Когда автобус остановился, и они вышли, Сашеньку вырвало.

– Бедная моя девочка, – мама вынула из сумки платок и протянула Сашеньке, – Бедная ты моя девочка…

Всё то время, что они с мамой после отъезда отца жили на турбазе, шёл дождь. Утром дождь походил на туман, висящий в воздухе, опускающийся на крыши домиков. Днём туман превращался в дробный, убаюкивающий цокот по бетонным дорожкам, крышам. К вечеру он успевал трижды пролиться ливнем, чтобы под самые сумерки вдруг замереть. И тогда в окрестном лесу громко и по-вечернему сочно щёлкали огромные капли, стекавшие с высоких крон и падающие на начинающие желтеть листья ландыша. Щёлк-щёлк. И где-то внизу по Оке шла моторка, звук двигателя путался в кустах орешника и окончательно застревал в мелких бриллиантах растянутой между ольхой паутины.

На третий день в комнате стало совсем сыро и неуютно, байковое казенное одеяло впитало в себя ненастье и уныние и вовсе не грело. Сашенька проворочалась всю ночь, пытаясь заснуть. Кажется, мама тоже не спала. В темноте Сашеньке показалось, что она различает мамины открытые глаза, а в них слёзы. Но, наверное, это ей только казалось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.